

Разговор с Гюнтером Гаусом*

Телевизионное интервью. Октябрь 1964 г.

Ханна Арендт

Аннотация. Интервью Ханна Арендт немецкому журналисту Гюнтеру Гаусу посвящено переломным моментам ее биографии, имеющей существенное значение для понимания ряда аспектов ее творчества. Арендт рассказывает также о своем отношении к интеллектуалам, к отдельным философам, к политике, тоталитаризму и демократии.

Ключевые слова: Ханна Арендт, политическая теория, нацизм, еврейство, тоталитаризм, мышление, демократия.

От редакции

Ханна Арендт (1906–1975), политический мыслитель и публицист, была на пике известности, когда немецкий журналист и — позже — политик Гюнтер Гаус (1929–2004) взял у нее интервью для программы «Zur Person»¹, выходявшей на телеканале ZDF в ФРГ². Под разными названиями (включая и возвращение к первоначальному варианту) программа просуществовала несколько десятилетий. Арендт попала в один ряд с самыми известными публичными персонами своего времени, такими как Г. Киссинджер, Х. Шмидт или Р. Аугштайн. Работа об истоках тоталитаризма³ и чуть ли не скандальная в момент выхода книга «Эйхман в Иерусалиме»⁴ привлекли к ней самое широкое внимание, но более искушенная публика знала ее как значительного

* Пер. с нем. Г. М. Дашевского. Источник: *Arendt H.* (1996). *Ich will verstehen*. München: Piper. S. 46–72. Печатается с любезного разрешения Фонда Ханна Арендт и издательства Piper. Примечания, кроме особо оговоренных примечаний переводчика, сделаны редактором.

Публикация осуществлена в рамках проекта «Полицейский порядок и ситуативная солидарность: динамика взаимодействия и трансформаций» (Программа фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году).

© Дашевский Г. М., 2013

© Центр фундаментальной социологии, 2013

1. Примерно можно перевести как «Знакомство с личностью».

2. Запись интервью в настоящее время широкодоступна в сети. См., например: <http://www.youtube.com/watch?v=Ts4IQ2gQ4TQ>

3. См.: *Арендт Х.* (1996). *Истоки тоталитаризма* / Пер. с англ. И. В. Борисовой и др. под ред. М. С. Ковалевой и Д. М. Носова. М.: ЦентрКом.

4. См.: *Арендт Х.* (2008). *Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме* / Пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. М.: Европа.

политического философа. Что речь уже идет не только о политической философии, также начинали постепенно догадываться, и небольшая, но очень примечательная дискуссия в начале о том, является ли Арендт в точном смысле слова философом, имеет несколько неочевидных измерений. Гаус читал (и ссылается на него) важнейший к тому времени философский труд Арендт «*Vita activa*»⁵, но, возможно, он проштудировал и сборник ее философских эссе «Между прошлым и будущим»⁶. Вопрос о том, что значит быть философом, стоял для Арендт очень остро, она не соглашалась, но — примечательным образом — именно философом ее называли все снова и снова, чаще и чаще.

Отвечая на вопросы Гауса, она еще не знала, конечно, что вступает в последнее десятилетие своей жизни, не знала и о том, что в конце 60-х обратится к политической философии Канта⁷, получит приглашение читать лекции в Абердине — прославленные Гиффордские лекции — и напишет в результате «Жизнь ума»⁸. Выпущенная посмертно, эта книга стала одним из важнейших философских сочинений конца XX в. Гаус застал ее на вершине славы, но в то же время — накануне взлета. Интервью, которое мы публикуем накануне долгожданного выхода из печати «Жизни ума», оказалось одним из самых удачных: личность мыслителя, ее темперамент и бесстрашие явлены здесь во всей полноте.

* * *

Гаус: Госпожа Ханна Арендт, вы — первая женщина, которую мы представляем в нашей программе. Первая женщина, хотя и с предельно мужским по общепринятому представлению занятием: вы философ. От этого предварительного замечания я перехожу к первому вопросу: воспринимаете ли вы свою роль в кругу философов, несмотря на признание и уважение, которыми вы пользуетесь, как нечто необычное — или же проблема женского равноправия для вас никогда не вставала?

Арендт: Боюсь, сперва я должна возразить. Я не принадлежу к кругу философов. Моя профессия (если о таковой вообще можно говорить) — это политическая теория. Я несколько не чувствую себя философом. И не думаю, что я принята философами в их круг, как вы любезно предполагаете. Но если перейти к другому вопросу, который вы затронули в своем предварительном замечании: вы говорите, что это общепринятое мужское занятие. Но оно не обязано оставаться мужским занятием! Вполне возможно, что какая-нибудь женщина когда-нибудь станет философом...

Гаус: Я вас считаю философом...

5. См.: Арендт Х. (2000). *Vita activa, или О деятельной жизни* / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибикина под ред. Д. М. Носова. СПб: Алетейа.

6. См.: Arendt H. (1961). *Between past and future: six exercises in political thought*. N. Y.: Viking Press.

7. См.: Арендт Х. (2011). *Лекции по политической философии Канта* / Пер. с англ. А. Глухова. СПб: Наука.

8. См.: Arendt H. (1978). *The life of the mind*. 2 vols. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich.

Арендт: Хорошо, с этим я ничего не могу поделать. Но я себя философом не считаю. Я считаю, что окончательно распрощалась с философией. Я изучала философию, как вы знаете, но это отнюдь не значит, что я там и осталась.

Гаус: Но все же я хотел бы (я очень рад, что мы коснулись этого пункта) точнее у вас узнать, где вы видите различие между политической философией и вашей занятиями политической теорией? На основании некоторых ваших книг, например «*Vita activa*», я все-таки включил бы вас в число философов, если вы мне не определите точнее это различие.

Арендт: Видите ли, это различие, собственно, содержится в самом предмете. Выражение «политическая философия», которого я избегаю, — это выражение крайне отягощено традицией. Когда я — будь то в академическом или неакадемическом жанре — говорю об этих вещах, то всегда напоминаю, что между философией и политикой существует напряжение — то есть напряжение между человеком, поскольку он является философствующим существом, и человеком, поскольку он является действующим существом. В натурфилософии этого напряжения нет. По отношению к природе философ находится в том же положении, что и все остальные люди. Когда он думает о ней, то говорит от имени всего человечества. Но по отношению к политике — уже начиная с Платона! — философ находится в положении не нейтральном...

Гаус: Я понимаю, что вы имеете в виду.

Арендт: ...И поэтому имеется своего рода враждебность к политике у большинства философов (за очень немногими исключениями: вот Кант — исключение). Враждебность, которая для этой сферы чрезвычайно важна, поскольку здесь дело не в персональных особенностях философа. Дело в самом предмете.

Гаус: К этой враждебности к политике вы не хотите иметь никакого отношения, так как полагаете, что она помешала бы вашей работе?

Арендт: «Я не хочу иметь никакого отношения к этой враждебности» — это значит: я хочу рассматривать политику глазами, незамутненными философией.

Гаус: Понимаю. Теперь, пожалуйста, вернемся к вопросу женского равноправия. Существовала ли для вас такая проблема?

Арендт: Да, эта проблема как таковая, разумеется, всегда существовала. Я, в общем-то, старомодна. Я всегда считала, что есть определенные занятия, которые женщинам не подходят, которые им не идут, если можно так выразиться. Не очень хорошо выглядит, когда женщина отдает приказы. Женщине лучше не попадать на такие должности, если ей важно сохранить свои женские качества. Права я в этом или нет, не знаю. Сама я этой идеей так или иначе руководствовалась — более или менее бессознательно, или, лучше сказать, более или менее сознательно. Лично для меня эта проблема никакой роли не играла. Видите ли, я просто делала то, что мне хотелось делать.

Гаус: Ваша работа (ее деталей мы еще, разумеется, коснемся) в своей существенной части направлена к познанию тех условий, при которых возникают политическое

действие и поведение. Хотите ли вы этими работами оказать воздействие и на широкую публику, или же полагаете, что сегодня такое воздействие уже невозможно, — или для вас подобное воздействие несущественно?

Арендт: Видите ли, это тоже отдельная история. Если говорить совсем честно, то должна сказать: когда я работаю, воздействие меня не интересует.

Гаус: А когда работа закончена?

Арендт: А когда она закончена, то и дело с концом. Для меня существенно вот что: я должна понять. Само писание для меня тоже включено в это понимание. Писание, согласитесь, — это ведь часть процесса понимания.

Гаус: Когда вы пишете, то это служит вашему собственному дальнейшему познанию.

Арендт: Да, так как при этом фиксируются определенные вещи. Скажем, если бы у меня была такая хорошая память, что я бы действительно запоминала все свои мысли, — в таком случае я вряд ли бы что-нибудь стала записывать, я свою лень знаю хорошо. Мне важен сам процесс мышления. Когда он у меня происходит, я лично очень рада. А когда мне потом удается его адекватно выразить на письме, то я снова радуюсь.

Теперь к вашему вопросу о воздействии. Если мне позволено ответить иронически: это очень мужской вопрос. Мужчины всегда хотят оказывать плодотворное воздействие; но я смотрю на это, в общем-то, со стороны. Воздействовать? Нет, я хочу понять. А когда другие люди понимают — в том же смысле, в каком поняла я, — тогда я испытываю радость, словно оказалась в родной стране.

Гаус: Вы пишете легко? Легко формулируете?

Арендт: Иногда да, иногда нет. Но вообще я могу сказать, что никогда не пишу, пока не запишу все у себя в голове.

Гаус: То есть пока все предварительно не обдумаете.

Арендт: Да. Я точно знаю, что я хочу написать. До того я не пишу. Почти всегда я пишу, просто записывая за собой. И это происходит сравнительно быстро, так как зависит только от скорости, с которой я печатаю.

Гаус: Занятия политической теорией, политическим действием и поведением составляют сегодня центр вашей работы. В этой ситуации мне кажется особенно интересным то, что я нашел в вашей переписке с израильским профессором Шоломом⁹. Там вы пишете (позволю себе процитировать), что вам «в молодости были безразличны и политика, и история». В 1933 году вы, госпожа Арендт, эмигрировали из Германии как еврейка. Тогда вам было 26 лет. Есть ли у того, что вы занялись политикой,

9. Переписка со знаменитым гебраистом и философом Гершомом Шоломом состоялась в 1963 г. и издана в нескольких местах. См., например: *Neue Zürcher Zeitung*. 1963. № 287. Письмо Ханны Арендт вошло в издание, по которому сделан данный перевод.

у того, что вы отказались от своего безразличия к политике и истории, причинно-следственная связь с этими событиями?

Арендт: Да, разумеется. В 1933 году это безразличие стало невозможно. Да и раньше оно уже было невозможно.

Гаус: И вы от него отказались тоже раньше?

Арендт: Да, конечно. Газеты я читала с тревогой. У меня появились политические мнения. Ни в какую партию я при этом не входила и не чувствовала в этом никакой нужды. Уже с 1931 года я была твердо убеждена, что нацисты придут к власти. И я постоянно спорила об этой проблеме с другими людьми. Но систематически этими вещами я впервые занялась только в эмиграции.

Гаус: У меня есть дополнительный вопрос к тому, что вы только что сказали. Раз вы с 1931 года были уверены, что приход нацистов к власти неотвратим, не подвигло ли это вас к какому-то активному противостоянию — например, к вступлению в какую-либо партию? Или вам казалось, что это уже не имеет смысла?

Арендт: Лично мне казалось, что смысла в этом уже нет. Если бы я видела в этом смысл — обо всем этом очень трудно говорить задним числом, — тогда бы я, может быть, что-то сделала. Мне это казалось безнадежным.

Гаус: Помните ли вы какой-то конкретный эпизод, которым можете датировать ваш поворот к политическому?

Арендт: Я могла бы назвать 27 февраля 1933 года — пожар Рейхстага и последовавшие в ту же ночь незаконные аресты, так называемые «превентивные задержания». Людей бросали в подвалы гестапо или в концентрационные лагеря. То, что тогда произошло, было чудовищно, хотя сегодня часто заслоняется позднейшими событиями. Для меня это стало непосредственным шоком, и с того момента я почувствовала свою ответственность. Я отказалась от мнения, будто сейчас можно быть просто наблюдателем. Я пыталась помочь кое в каких вещах. Но то, что меня тогда непосредственно выгнало из Германии, если уж об этом рассказывать, — я никогда об этом не рассказывала, так как это не имеет значения...

Гаус: Пожалуйста, расскажите.

Арендт: Я и без того уже собиралась эмигрировать. Я сразу же пришла к убеждению, что евреи не могут остаться. У меня не было намерения болтаться в Германии в качестве гражданина второго сорта, в какой бы то ни было форме. Кроме того, я считала, что дела будут идти все хуже и хуже. И тем не менее в конце концов я уехала совсем не таким уж спокойным образом. И должна признаться, это мне доставило некоторое удовольствие. Я была арестована, вынуждена была выехать из страны нелегально (сейчас я вам об этом расскажу), и все это сразу же принесло мне некоторое удовольствие. Я подумала: «По крайней мере, я хоть что-то сделала! По крайней мере, я не невинна. Уж в этом-то меня никто не упрекнет!»

И эту возможность мне предоставила сионистская организация. Я была очень близко знакома с несколькими из ее руководителей, прежде всего с тогдашним пре-

зидентом Куртом Блюменфельдом. Но сама я не была сионисткой, и никто не пытался меня в сионистку превратить. И однако, в определенном смысле они на меня повлияли. Именно той критикой, которую сионисты развернули по отношению к еврейскому народу. Это произвело на меня впечатление, но политически я не имела с ними ничего общего. Так вот, в 1933 году Блюменфельд и еще один человек, которого вы не знаете, обратились ко мне и сказали: «Мы хотим начать собирать все антисемитские высказывания на местах. Например, в профсоюзах, в объединениях, в любых специальных журналах, короче говоря, все то, что не доходит до заграницы». Сбор такой коллекции тогда подпадал под статью «Пропаганда заведомо ложных измышлений», так это называлось. За это не мог взяться ни один человек, который входил в сионистскую организацию, так как если бы он провалился, то провалилась бы вся организация.

Гаус: Разумеется.

Арендт: Они спросили: «Хочешь этим заняться?» Я ответила: «Разумеется». Я была очень рада. Во-первых, сама затея мне показалась очень разумной, а во-вторых, у меня было чувство, что можно наконец хоть что-нибудь сделать.

Гаус: Вы были арестованы в связи с этой работой?

Арендт: Да. Тогда-то я и попала. Но мне очень повезло. Я вышла через 8 дней, так как следователь уголовной полиции, который меня арестовал, со мной подружился. Это был замечательный человек. Его перевели из уголовной полиции в политический отдел. Он ничего не понимал, что ему тут делать. Он все время мне повторял: «Обычно, когда передо мной кто-то вот так сидит, то стоит мне посмотреть, так сразу я знаю, что это за человек. Но что мне делать с вами?»

Гаус: Это было в Берлине?

Арендт: Это было в Берлине. Я, к сожалению, вынуждена была этого человека обмануть. Я не имела права провалить организацию. Я рассказывала ему фантастические истории, а он повторял: «Я вас сюда привел, я вас отсюда вытащу. Не берите адвокатов. У евреев сейчас нет денег. Экономьте ваши деньги». А тем временем сионистская организация нашла мне адвоката. Разумеется, через членов организации. И этого адвоката я отослала прочь. Потому что у этого человека, который меня арестовал, было такое открытое, порядочное лицо. Я положила на него и подумала, что это намного надежнее, чем какой-нибудь адвокат, который только и будет что бояться.

Гаус: И вы вышли на свободу и смогли уехать из Германии.

Арендт: Я вышла, но уехать должна была нелегально, через тропу контрабандистов, так как дело, разумеется, развивалось дальше.

Гаус: В уже упоминавшейся переписке, госпожа Арендт, вы недвусмысленно отклонили совет Шолема всегда помнить о вашей принадлежности к еврейскому народу — отклонили как излишний. Вы пишете (снова цитирую): «Еврейство для меня относится к несомненным данностям моей жизни, и в такого рода фактичности я

никогда ничего не хотела изменить, даже в детстве»¹⁰. Об этом я хотел бы задать несколько вопросов. Вы родились в 1906 году в Ганновере, в семье инженера, и выросли в Кенигсберге. Можете ли вы рассказать, что в предвоенной Германии означало для ребенка происходить из еврейской семьи?

Арендт: Я не могла бы ответить на этот вопрос в общем. А что касается личных воспоминаний, то сначала я не сознавала, что я еврейка. Моя мать была совершенно нерелигиозна.

Гаус: А ваш отец умер рано.

Арендт: Да, мой отец умер рано. Все это звучит очень комично. Мой дед был президентом либеральной общины и депутатом городского совета Кенигсберга. Я происхожу из старинного кенигсбергского семейства. Тем не менее слово «еврей» никогда у нас не звучало, пока я была ребенком. Впервые я его услышала в антисемитских репликах — их не стоит пересказывать — детей на улице. Тогда-то я и была, так сказать, просвещена.

Гаус: Это стало для вас шоком?

Арендт: Нет.

Гаус: У вас возникло чувство — «теперь я не похожа на других»?

Арендт: Это, знаете ли, другое дело. Шоком для меня это вовсе не стало. Я просто подумала: ага, вот оно что. Но было ли у меня чувство, что я не похожа на других? Да. Но это я вам сегодня уже не могу разъяснить.

Гаус: Что же означало это чувство?

Арендт: Объективно говоря, я считаю, что это было связано с моим еврейством. Например, в детстве — уже чуть постарше — я знала, что выгляжу как еврейка. То есть что я выгляжу иначе, чем другие. Это я очень сознавала. Но не в форме комплекса неполноценности. Это было просто фактом — я отличаюсь. И потом моя мать, мой родительский дом был несколько необычным. Он был так не похож на дома других еврейских детей и даже на дома наших родственников, что ребенку очень трудно было уловить, в чем же именно состоит эта непохожесть.

Гаус: Я очень хотел бы, чтобы вы разъяснили то, что вы назвали непохожестью вашего родительского дома. Вы говорите, что для вашей матери никогда не было необходимости, пока вы с этим не столкнулись на улице, вас просвещать относительно вашей принадлежности к еврейству. Утратилось ли у вашей матери то сознание своего еврейства, о котором вы применительно к себе говорите в письме к Шолему? Оно не играло уже для нее никакой роли? Что здесь перед нами — удачная ассимиляция или же иллюзия вашей матери, будто она удачно ассимилировалась?

Арендт: Моя мать была не очень склонна к теоретизированию. Я не верю, что у нее были какие-нибудь особые идеи на этот счет. Она сформировалась в социал-де-

10. См.: *Arendt H. (1996). Brief an Gerhard Scholem // Arendt H. Ich will verstehen. München: Piper. S. 32.*

мократическом движении, в круге «Социалистического ежемесячника»¹¹ — мой отец тоже, но прежде всего моя мать. И еврейский вопрос никакой роли для нее не играл. Само собой, она была еврейкой. Она бы никогда меня не крестила! Предполагаю, что она мне надавала бы оплеух, если бы когда-нибудь я отказалась признать, что я еврейка. Ни о чем подобном не могло быть и речи. Но сам еврейский вопрос, разумеется, в 1920-е годы, в годы моей молодости, играл намного большую роль, чем когда-то для моей матери. А для моей матери он стал играть, когда я выросла, намного большую роль, чем до того. Но это было связано с внешними условиями.

Я, например, не думаю, что я когда-либо себя рассматривала как немку в смысле принадлежности к народу, а не к государству, если только можно провести такое различие. Я помню, что примерно в 1930 году у меня были об этом споры, например с Ясперсом. Он говорил — конечно же, вы немка! А я говорила — да видно же, что нет. Но это для меня не играло никакой роли. Я не переживала это как какую-то неполноценность. Этого со мной не было.

И если можно снова вернуться к непохожести моего родительского дома — видите ли, с антисемитизмом сталкиваются все еврейские дети. И он отравил души многих детей. Мы отличались тем, что моя мать всегда придерживалась такой позиции: нельзя сдаваться, нужно защищаться. Если кто-то из моих учителей допускал какое-то антисемитское замечание — чаще всего не в связи со мной, а в связи с другими школьницами-еврейками, например школьницами из Восточной Европы, — то на этот случай у меня была инструкция — немедленно встать, прийти домой, все точно доложить. Тогда мать писала очередное письмо школьному начальству, а для меня дело было полностью закончено. У меня образовывался свободный от школы день, и это, конечно, было замечательно. Но если же что-то подобное исходило от детей, то об этом я не имела права рассказывать дома. Это запрещалось. Против того, что исходило от детей, нужно было защищаться самой. Вот поэтому такие ситуации никогда не превращались для меня в проблему. Были правила поведения, при которых я сохраняла достоинство и была абсолютно защищена дома.

Гаус: Вы учились в Марбурге, Гейдельберге и Фрайбурге у профессоров Хайдеггера, Бульмана и Ясперса по специальности «философия», а кроме того, учили теологию и греческий. Как вы пришли к этому выбору предметов?

Арендт: Я и сама об этом часто себя спрашивала. Могу сказать лишь одно: философию я твердо выбрала в 14 лет.

Гаус: Почему?

Арендт: Я прочла Канта. Тут вы можете спросить: а почему вы читали Канта? Каким-то образом передо мной встал вопрос: либо я смогу заниматься философией, либо покончу с собой. Не то чтобы я не любила жизнь, нет! Дело было в том, о чем я говорила раньше, — в необходимости понять.

Гаус: Да.

11. Sozialistische Monatshefte — выходивший в 1897–1933 гг. теоретический журнал немецких социал-демократов.

Арендт: В потребности понять, которая возникла очень рано. Видите ли, все нужные книги были у меня дома, я брала их из домашней библиотеки.

Гаус: Были ли у вас кроме Канта какие-то книги-события, которые вам особенно запомнились?

Арендт: Да. Во-первых, «Психология мировоззрений» Ясперса, вышедшая, по моему, в 1920 году — тогда мне было четырнадцать лет. Затем я прочла Кьеркегора. Тогда-то все и сошлось.

Гаус: Вошла ли сюда и теология?

Арендт: Тогда все так сошлось, что и философия, и теология оказались для меня частями одного целого. Я только не знала, как мне этим заниматься, если я еврейка. И как вообще это происходит, то есть обучение философии. Я понятия об этом не имела. Так что у меня были тяжелые раздумья, которые потом очень просто разрешились. А греческий — это совсем другое дело. Я всегда очень любила греческую поэзию, и поэзия в моей жизни играла большую роль, поэтому я и взяла дополнительно греческий — это было удобнее всего. Я и так на нем читала.

Гаус: Преклоняюсь.

Арендт: Ну что вы, не преувеличивайте.

Гаус: Ваша интеллектуальная одаренность, госпожа Арендт, столь рано проявившаяся, — не отделяла ли она вас, когда вы были школьницей и студенткой, от вашего окружения каким-нибудь болезненным образом?

Арендт: Так должно было бы случиться, если бы я ее сознавала. Но я считала, что все такие же, как я.

Гаус: Когда вы осознали, что дело обстоит иначе?

Арендт: Довольно поздно. Мне неловко об этом говорить. Я была неописуемо наивна. Частично это объясняется моим воспитанием. В доме о школьных успехах никогда не заходила речь. Никогда не говорили об отметках. Это считалось дурным тоном. Любое тщеславие дома считалось недостойным. Во всяком случае, я это свое качество по-настоящему не сознавала. Иногда оно осознавалось как какая-то чуждость по отношению к остальным людям.

Гаус: Вам казалось, что причина этой чуждости в вас?

Арендт: Да, исключительно. Но она не имела ничего общего с одаренностью. Я никогда не связывала ее с одаренностью.

Гаус: Не приводило ли это в молодости иногда к высокомерию?

Арендт: Да, такое случалось. Случалось уже очень рано. И за такое высокомерие мне иногда доставалось: нельзя так себя вести, нехорошо так себя вести и так далее...

Гаус: Когда вы в 1933-м покинули Германию, вы попали в Париж, где работали в организации, которая переправляла еврейскую молодежь в Палестину. Можете об этом рассказать?

Арендт: Эта организация отправляла еврейских подростков от 13 до 17 лет из Германии в Палестину и там поселяла их в кибуцах. Поэтому эти поселения я знаю сравнительно хорошо...

Гаус: ...и с очень раннего времени.

Арендт: И с очень раннего времени. Тогда я питала к ним очень большое уважение. Дети получали профессиональное образование, проходили переквалификацию. Иногда я вывозила и польских детей. Это была настоящая социальная работа, педагогическая работа. В сельской местности были устроены большие лагеря, где детей готовили, где у них были уроки, где они учились сельскому труду и где они прежде всего должны были окрепнуть. Их нужно было с ног до головы заново одеть. Нужно было для них готовить. Самое главное, нужно было раздобыть для них документы. Нужно было договариваться с родителями. И самое главное, нужно было раздобыть для них денег. Все это в значительной мере лежало на мне. Я работала вместе с французенками. В этом вот примерно заключалась моя деятельность. Но само решение взяться за эту работу — хотите о нем узнать или нет?

Гаус: Прошу вас.

Арендт: Видите ли, перед тем моя деятельность ограничивалась академической средой. А относительно этой среды 1933 год оставил у меня очень прочное впечатление. Во-первых, позитивное, а во-вторых, негативное. Точнее будет сказать наоборот — во-первых, негативное, а во-вторых, позитивное. Сегодня часто думают, что шок немецких евреев объяснялся тем, что Гитлер захватил власть. Что касается меня и людей моего поколения, то я могу сказать, что это странное недоразумение. Разумеется, захват власти Гитлером — это было очень плохо. Но это было политическим [событием]. Это не было личным. Что нацисты наши враги — чтобы это узнать, нам не нужен был гитлеровский захват власти. Уже самое меньшее четыре года всякому неслабоумному человеку это было абсолютно ясно. Что за Гитлером стоит большая часть немецкого народа — это мы тоже знали. Этим в 1933 году нас нельзя было шокировать.

Гаус: Вы имеете в виду, что шок 1933 года заключался в том, что события перешли с общеполитического на личный уровень?

Арендт: Нет, я имею в виду не это. Точнее говоря, и это тоже. Во-первых, общеполитическое действительно стало личной судьбой — в той мере, в какой человек не сидел взаперти. Но во-вторых, вы же знаете, что такое координация (*Gleichschaltung*)¹² — а это ведь означало, что друзья тоже координировались! Проблема, личная проблема была не в том, что делали наши враги, а в том, что делали наши друзья. В том, что тогда на волне «выравнивания», которое было довольно-таки добровольным — по крайней мере, протекало не под угрозой террора, — вокруг тебя как будто образовывался вакуум. Я жила в интеллектуальной среде, но я знала и других людей — и

12. Политика подключения всех групп, слоев, общественных организаций к сотрудничеству с гитлеровским режимом.

я могла утверждать, что среди интеллектуалов «выравнивание» было нормой, а среди других — нет. И этого я никогда не забывала. Я уехала из Германии с твердым убеждением — разумеется, несколько преувеличенным — «больше никогда!» Больше никогда я не буду иметь дела ни с какими интеллектуальными кругами! С этой средой я не хочу иметь ничего общего. Разумеется, я не думала, что немецкие евреи и немецко-еврейские интеллектуалы повели бы себя принципиально иначе, если бы оказались с другой стороны. Нет, я думала, что это связано с самой профессией, с интеллектуальностью. Я говорю в прошедшем времени, потому что сегодня я знаю об этом больше...

Гаус: Я как раз хотел спросить: по-прежнему ли вы так считаете?

Арендт: Уже не с такой заостренностью. Но что интеллектуалы в принципе устроены так, что по поводу чего угодно могут что-нибудь придумать, — так я по-прежнему думаю. Видите ли, за то, что кто-то «координировался», потому что должен был заботиться о жене и детях, — за это никогда никого не упрекали. Беда была в том, что они в это [в нацистскую идеологию] действительно поверили! Ненадолго; некоторые очень ненадолго. Но это все-таки значит, что и по поводу Гитлера они сумели что-то придумать. И иногда невероятно интересные вещи! Фантастически интересные и сложные! И вещи, стоящие очень высоко над средним уровнем! Это я воспринимала как нечто гротескное. Они попадали в ловушку к собственным выдумкам, сказала бы я сегодня. Вот что произошло. Тогда я не смотрела на это с такой точки зрения.

Гаус: И потому для вас было особенно важно выйти из этого круга, с которым вы тогда хотели радикально распрощаться, и перейти к практической работе?

Арендт: Да. А позитивная сторона заключается в следующем — я пришла к пониманию, которое тогда сформулировала одной фразой: «Если на тебя нападают как на еврея, то и защищаться ты должен как еврей». Не как немец, не как гражданин мира, не как обладатель прав человека и так далее, но — что я могу сделать именно в качестве еврея? К этому добавлялось, во-вторых, ясное намерение: теперь я хочу действительно действовать организованно. Впервые. И естественно, я имела в виду организацию сионистов. Они были единственными, кто был готов. Действовать вместе со сторонниками ассимиляции не имело никакого смысла. К тому же с ними я никогда не имела ничего общего. А самим еврейским вопросом я уже занималась. Работа о Рахели Фарнхаген¹³ была закончена, когда я уезжала из Германии. А в ней еврейская проблема играла некоторую роль. Но там я об этой проблеме писала с идеей «я хочу понять». Те проблемы еврейства, которые я там излагала, не были моими личными. А теперь принадлежность к еврейству стала моей собственной проблемой. И моя собственная проблема была политической. Чисто политической! Я хотела заниматься практической работой, и я хотела заниматься исключительно еврейской работой. Этой линии я тогда во Франции и придерживалась.

13. *Рахель Фарнхаген фон Энзе (1771–1833)* — немецкая писательница еврейского происхождения. Арендт написала о ней книгу: *Arendt H. (1958). Rahel Varnhagen: the life of a Jewess / Transl. R. Winston and C. Winston. L.: Institute by the East and West Library.*

Гаус: До 1940 года?

Арендт: Да.

Гаус: Во время Второй мировой войны вы переехали в США, где сегодня работаете профессором политической теории, не философии...

Арендт: Спасибо.

Гаус: ... в Чикаго. Вы живете в Нью-Йорке. Ваш муж, за которого вы вышли в 1940 году, тоже работает в Америке преподавателем философии¹⁴. Но академическая сфера, к которой Вы снова принадлежите, после разочарования в 1933 году, — эта сфера интернациональна. Поэтому мне хотелось бы спросить, скучаете ли вы по Европе догитлеровского времени, которой уже никогда не будет? Когда вы приезжаете в Европу, что, по вашему впечатлению, сохранилось и что невозможно утрачено?

Арендт: Европа догитлеровского времени? Никакой ностальгии у меня нет. Что осталось? Остался язык.

Гаус: А это для вас значит много?

Арендт: Очень много. Я всегда сознательно отказывалась терять родной язык. Я всегда соблюдала определенную дистанцию как по отношению к французскому, на котором я тогда очень хорошо говорила, так и по отношению к английскому, на котором я пишу сегодня.

Гаус: Я об этом как раз и хотел спросить. Теперь вы пишете по-английски?

Арендт: Я пишу по-английски, но я никогда не теряла дистанции по отношению к нему. Есть огромная разница между родным языком и всеми остальными языками. Про себя я могу сказать страшно просто: приличную часть немецкой поэзии я знаю наизусть. Эти стихи живут где-то у меня в голове, в уголках сознания, и, разумеется, ни на одном другом языке у меня это уже не получится. По-немецки я позволяю себе вещи, которые никогда бы не позволила себе по-английски. Вообще-то иногда я себе их позволяю и по-английски тоже, так как я довольно сильно обнаглела, но, в общем, я соблюдаю эту дистанцию по отношению к английскому языку. Немецкий язык, во всяком случае, — это главное, что осталось и что я сознательно сохраняла.

Гаус: Даже в самое тяжелое время?

Арендт: Да, всегда. Я думала: а что же с этим делать? Ведь это же не немецкий язык проклят или испорчен. Ведь это же не немецкий язык сошел с ума. И во-вторых: для родного языка не существует никакой замены. Можно родной язык забыть. Это правда. Я видела таких людей. Они говорили на чужом языке лучше, чем я, — я-то говорю по-прежнему с очень сильным акцентом, и я часто говорю не идиоматически. Но чужой язык, на котором человек бегло говорит, — это язык, в котором одно клише цепляется за другое, так как та производительность, та способность создавать новое, которая есть у человека в разговоре на собственном языке, она ампутруется, когда он этот язык забывает.

14. Генрих Блюхер (Blücher) (1899–1970) — второй супруг Ханны Арендт.

Гаус: Те случаи, когда родной язык бывал забыт, — можно ли назвать это вытеснением?

Арендт: Да, очень часто было именно так — вытеснение как следствие шока. Знаете, решающим событием тут был не 1933 год. По крайней мере, решающим для меня. Решающим был тот день, когда мы узнали об Освенциме.

Гаус: Когда это случилось?

Арендт: Это случилось в 1943 году. И сперва мы этому не поверили. Хотя вообще-то мой муж и я всегда говорили, что об этих бандитах мы поверим чему угодно. Но этому мы не поверили, так как это противоречило всем нуждам и потребностям войны. Мой муж прежде был военным историком, он разбирается в этих делах. Он сказал: не слушай эти рассказы, на такое они не пошли бы! А через полгода мы все-таки этому поверили, потому что нам это было доказано. И вот это стало настоящим шоком. Раньше мы говорили: ну бывают же у людей враги, это совершенно естественно. Почему бы именно нашему народу вдруг не иметь никаких врагов? Но это было уже что-то другое. Здесь действительно как будто разверзлась бездна. Потому что до того у нас было представление, что все остальное каким-то образом когда-нибудь можно будет загладить. Как в политике вообще все как-нибудь, когда-нибудь, так или иначе можно компенсировать. А это — нет. Это не должно было случиться. И при этом я имею в виду не количество жертв. Я имею в виду фабричное производство трупов и всё то, о чем мне нет необходимости дальше распространяться. Это не должно было случиться. Здесь произошло что-то такое, с чем мы все никогда не справимся. Обо всех других вещах, которые в ту эпоху произошли, я должна сказать: это бывало тяжело, мы бывали бедны, нас гнали, мы должны были убегать, должны были куда-то пробираться и тому подобное. Но мы были молоды. Мне это даже доставляло некоторое — не могу подобрать иного слова — удовольствие. Но [лагеря уничтожения] — это другое дело. Это было чем-то совсем иным. Со всем остальным можно было лично как-то справиться.

Гаус: Я бы хотел от вас услышать, госпожа Арендт, какие перемены претерпела после 1945 года ваша оценка послевоенной Германии, которую вы часто посещали и в которой изданы ваши самые значительные произведения.

Арендт: В первый раз я снова приехала в Германию в 1949 году по поручению еврейской организации по спасению еврейского культурного наследия — фактически книг. Я приехала, не держа зла [на бывших друзей]. Мои размышления после 1945 года были такими: что бы ни случилось [между нами] в 1933 году, по сравнению с тем, что произошло впоследствии, все это совершенно ничтожно. Разумеется, измена друзей, если можно так резко выразиться...

Гаус: ...которую вы испытали лично на себе?

Арендт: Да. Но понимаете, когда кто-то потом стал настоящим нацистом и потом написал об этом в газете, то по отношению лично ко мне ему уже незачем было хранить верность. Я в любом случае уже бы с ним не стала говорить. Вопрос о нашем

общении уже не стоял бы, такого человека я бы сама списала со счета. Это понятно. Но это все были не убийцы. Это были всего лишь люди, которые, как я сказала бы сегодня, угодили в собственные ловушки. Того, что пришло позже, они не хотели. Поэтому мне казалось, что как раз в этой бездне [Холокоста, которая ужаснула их так же, как меня] и можно найти опору [для восстановления отношений с ними]. И действительно со многими моими знакомыми именно так и получилось. Я спорила с ними — я не очень вежлива, я говорю то, что думаю, — но каким-то образом с целым рядом людей отношения снова наладились. Как было сказано, это все были люди, которые всего несколько месяцев или, в худшем случае, несколько лет что-нибудь такое делали, но они не стали ни убийцами, ни доносчиками. И как опять-таки я уже говорила, это были люди, которые много чего себе напридумывали по поводу Гитлера. Но помимо этих встреч-узнаваний, которые в греческой трагедии всегда служат поворотным моментом сюжета, — общее, самое большое переживание, когда я вернулась в Германию, было огромным потрясением. А еще — впечатление от того, что на улице говорят по-немецки. Это меня неопишимо обрадовало.

Гаус: Вот с такими настроениями вы приехали в 1949 году.

Арендт: Да, примерно с такими. И сегодня, когда все вокруг вернулось в спокойную колею, моя отстраненность стала больше, чем была тогда, при этом потрясении.

Гаус: Потому что, по вашему ощущению, ситуация здесь снова вернулась в спокойную колею слишком быстро?

Арендт: Да. И иногда в такую колею, которую я не приветствую. Но при этом я не чувствую себя ответственной. Я же смотрю на это со стороны, верно? И это значит, что я сегодня чувствую себя причастной еще меньше, чем тогда. Наверное, это зависит и от времени. Послушайте, пятнадцать лет — это не пустяк.

Гаус: Итак, вы чувствуете, что ваше безразличие усилилось?

Арендт: Отстраненность. «Безразличие» — слишком сильно. Но отстраненность — да, правда.

Гаус: Этой осенью, госпожа Арендт, в ФРГ вышла ваша книга о процессе Эйхмана в Иерусалиме. Эта работа с момента выхода в Америке вызвала очень жаркую полемику, особенно с еврейской стороны. Против вашей книги были высказаны упреки, о которых вы говорите, что они отчасти объясняются недоразумением, а с другой стороны — организованной [против вас] политической кампанией. Претензии вызвал прежде всего разбираемый в вашей книге вопрос, насколько евреям должна быть поставлена в вину их пассивность в роли жертв массовых убийств, совершенных немцами, или насколько сотрудничество с немецкими властями некоторых еврейских старейшин превратилось почти что в соучастие. Как бы то ни было, к портрету Ханны Арендт, мне кажется, эта книга об Эйхмане ставит много вопросов. Позвольте мне начать вот с какого: задевает ли вас иногда высказываемый упрек, что вашей книге недостает любви к еврейскому народу?

Арендт: Прежде всего позвольте мне заявить, что вы — уж не обессудьте — тоже стали жертвой этой пропагандистской кампании. Нигде в книге я не упрекаю еврейский народ за его непротивление. Это сделал другой человек, а именно — г-н Хауснер из израильской прокуратуры на процессе против Эйхмана. Вопросы, которые он задавал свидетелям в этом ключе, я назвала глупыми и жестокими.

Гаус: Я читал вашу книгу, я это знаю. Но некоторые обосновывают те упреки, которые вам делаются, тоном, в котором написаны некоторые места вашей книги.

Арендт: А, ну это другое дело. Против этого мне нечего возразить. И об этом я не хочу говорить. Если кто-то считает, что об этих вещах можно писать только патетически... Послушайте, есть люди, которые обвиняют меня вот за что (и этот упрек я в какой-то мере могу понять) — за то, что я еще могу смеяться. Но я действительно думаю, что Эйхман — дурак. И я говорю им: я прочитала его допросы — 3600 страниц, и прочитала очень внимательно. И я очень часто смеялась, даже вслух. За эту реакцию люди меня упрекают. С этим я ничего не могу поделать. Я знаю одно: я, наверное, стала бы смеяться и за три минуты перед верной гибелью. Но когда мне говорят: «что за тон, нельзя же так...» — тон у меня, действительно, в большой мере иронический, это правда. Это чистая правда. Но тон в этом случае действительно и есть человек. Когда меня упрекают в том, что я выдвинула обвинение против еврейского народа, это злобная пропагандистская ложь и больше ничего. Но «тон» — это упрек мне как личности. С этим я ничего не могу поделать.

Гаус: С этим вы готовы смириться.

Арендт: О, охотно. Что с этим можно поделать? Я же не могу этим людям сказать: вы меня неправильно поняли, а на самом деле в моем сердце происходит то-то и то-то.

Гаус: Я хотел бы в связи с этим еще раз обратиться к вашему собственному свидетельству. Вы говорите: «Я никогда в жизни не любила никакой народ или коллектив: ни немецкий, ни французский, ни американский народ, ни рабочий класс, ни что там еще такое бывает. Я люблю на самом деле только моих друзей, а ни к какой другой любви совершенно не способна. Но прежде всего мне была бы подозрительна любовь к евреям, так как я сама еврейка»¹⁵. Могу ли я спросить: разве человек не нуждается, будучи политически действующим существом, в связях с группой? В связях, которые до определенной степени могут быть названы и любовью? Не боитесь ли вы, что ваша позиция может оказаться политически бесплодной?

Арендт: Нет. Я бы сказала, что как раз иная позиция политически бесплодна. Принадлежать к какой-то группе — это просто естественная данность: вы принадлежите к какой-то группе просто по рождению. Но если вы имеете в виду принадлежность к группе в другом смысле, а именно принадлежность к какой-то организованной группе, то это совершенно другое дело. Такая организация происходит всегда по [принципу] некоего отношения к миру. Это значит, что те, кто так организуется, имеют друг

15. Цитата из письма Г. Шолему. *Op. cit.* S. 32 f.

с другом общие, как обычно говорят, «интересы». Прямое личное отношение, при котором можно говорить о любви, — оно существует, естественно, в наибольшей степени в собственно любви, и оно существует в определенном смысле также и в дружбе. Здесь адресатом является личность напрямую и независимо от ее отношения к миру. Так, люди, входящие в самые разные организации, могут по-прежнему оставаться лично друзьями. Но когда эти вещи одна с другой путаются, когда любовь — если выразиться максимально резко — приносят за стол переговоров, то это я считаю очень пагубным.

Гаус: Вы считаете это аполитичным?

Арендт: Я считаю это аполитичным, и я считаю это безмирным. И я действительно считаю это очень большой бедой. Я признаю, что еврейский народ — образцовый пример сохранившегося на протяжении тысячелетий безмирного народного союза...

Гаус: «Мир» понимается в смысле вашей терминологии, то есть как пространство для политики?

Арендт: Да, как пространство для политики.

Гаус: Иначе говоря, еврейский народ был аполитичным?

Арендт: Совсем так я бы не сказала, потому что его общины бывали, естественно, до определенной степени и политическими. Еврейская религия — это национальная религия. Но понятие политического применимо здесь только с очень большими ограничениями. Утрата мира, которую еврейский народ претерпел в рассеянии и которая, как у всех народов-парий, создает совершенно особую теплоту между теми, кто к нему принадлежит, — вот это изменилось, когда было основано государство Израиль.

Гаус: Утратилось ли с этим что-либо, о потере чего вы сожалеете?

Арендт: Да. За свободу платишь дорого. Специфически еврейская человечность под знаком утраты мира была чем-то прекрасным. Вы слишком молоды, вы этого уже не застали. Это было что-то прекрасное. Это нахождение вне всех общественных связей, эта полная непредубежденность, которую я очень сильно ощущала как раз у моей матери, которая именно так относилась и ко всему еврейскому обществу тоже. Все это, естественно, претерпело чрезвычайно большой ущерб. За освобождение нужно платить. Я когда-то в своей речи о Лессинге сказала...

Гаус: В Гамбурге в 1959 году.

Арендт: Да. Я сказала: такая человечность не переживает дня освобождения даже и на пять минут¹⁶. Видите, именно это у нас и случилось.

Гаус: Вы не хотели бы это вернуть?

Арендт: Нет. Я знаю, что нужно за свободу заплатить определенную цену. Я не могу сказать, что плачу ее охотно.

16. «Человечность униженных и оскорбленных никогда еще не переживала час освобождения даже на минуту» (Арендт Х. [2003]. Люди в темные времена / Пер. с англ. и нем. Г. Дашевского и Б. Дубина. М.: Московская школа политических исследований. С. 26–27). — Прим. перев.

Гаус: Госпожа Арендт, по отношению к тому пониманию, которого вы достигаете на путях политически-философского размышления или социологического анализа, чувствуете ли вы такую ответственность, что публикация этого знания становится для вас обязанностью? Или же вы признаете, что бывают причины, позволяющие умолчать о познанной истине?

Арендт: Это очень тяжелая проблема. Это, в сущности, единственный вопрос, который меня интересовал в течение всей контрверзы вокруг книги об Эйхмане. Он, правда, не возникал никогда, если я сама его не поднимала. А это — единственный серьезный вопрос, все остальное — просто пропагандистские помои. И так, да будет высказана истина, пусть бы мир и погиб? Фактически книга об Эйхмане такого рода вещей не касалась. Этой книгой ничьи легитимные интересы на самом деле затронуты не были. Так только считается.

Гаус: При этом что считать легитимным, а что нет, вы, естественно, должны оставить открытым для обсуждения.

Арендт: Да, тут вы правы. Что именно легитимно — это опять-таки подлежит обсуждению. При этом я, очевидно, под «легитимным» понимаю нечто иное, чем еврейские организации. Но допустим на секунду, что тут были бы действительно поставлены на карту даже и мной признанные интересы...

Гаус: В таком случае могли бы вы умолчать о познанной истине?

Арендт: Поступила ли бы я так? Да, конечно. Впрочем, стала ли бы я тогда вообще писать... Знаете, меня кто-то однажды спросил: если бы вы предвидели то-то и то-то, написали бы вы книгу об Эйхмане иначе? Я ответила: нет. Я бы тогда стояла перед альтернативой: писать или вообще не писать. Можно ведь попросту не разевать рта.

Гаус: Да.

Арендт: Человек не всегда должен говорить. А теперь имеется следующее: мы пришли к вопросу о том, что в XVIII веке называлось «истиной факта». Речь идет только об истинах факта. Речь не идет о мнениях. Что ж, для этих истин факта хранителями служат исторические науки в университетах.

Гаус: Они не всегда бывают наилучшими хранителями...

Арендт: Да. Они уступают давлению, они принимают указания от государства. Мне сообщали, что один историк по поводу какой-то книги о начале Первой мировой войны сказал: «Я не позволю поколебать мои воспоминания об этом величественном времени». Вот человек, который не знает, в чем его обязанности как историка. Но это неинтересно. Фактически историк является хранителем исторической истины, истины факта. А насколько важны эти хранители, мы знаем, например, из истории большевиков, где история каждые пять лет переписывалась, и, например, такие факты, что существовал когда-то некий Троцкий, становятся неизвестными. Хотим ли мы попасть в такую ситуацию? У правительств есть заинтересованность в таком положении вещей.

Гаус: Заинтересованность — возможно, но есть ли у них на это право?

Арендт: Есть ли у них на это право? Они вроде бы и сами не верят, что у них есть на это право, иначе бы они вообще не терпели существования университетов. К тому же у государств есть заинтересованность и в истине. Я здесь не имею в виду никаких военных тайн — это другое дело. Нет, все эти истории [о которых идет речь в моей книге] происходили около двадцати лет назад. Почему же нельзя о них сказать правду?

Гаус: Может быть, потому, что двадцать лет — это еще слишком мало?

Арендт: Так говорят одни, а другие говорят, что через двадцать лет правду уже невозможно отыскать. Это значит, в любом случае у кого-то имеется интерес себя обелить. Но этот интерес нельзя назвать законным.

Гаус: Иначе говоря, в сомнительной ситуации вы бы отдали преимущество правде?

Арендт: Я бы сказала, что беспристрастность, которая пришла в мир, когда Гомер...

Гаус: ...воспел и побежденных?

Арендт: Именно! «Если глас песни молчит о побежденном, тогда позвольте мне свидетельствовать о Гекторе»¹⁷, да? Это и сделал Гомер. Затем пришел Геродот и сказал: «Великие деяния эллинов и варваров»¹⁸. Из этого духа возникла вся наука, в том числе и современная. В том числе и историческая наука. Если мы не способны на эту беспристрастность, потому что любим собственный народ до такой степени, что по-

17. Арендт цитирует начало строфы из стихотворения Фридриха Шиллера «Siegesfest» (в пер. В. А. Жуковского — «Торжество победителей», в пер. Ф. И. Тютчева — «Поминки»):

Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом:
Тот, почтённый и врагом,
Будет жить в преданьях славы.
(пер. В. А. Жуковского)

Хоть о падших, побежденных
И молчит победный клик,
Но и в родах отдаленных,
Гектор, будешь ты велик!..
Вечной памяти достоин. —
Сын Тидеев провещал, —
Кто как честный, храбрый воин,
Край отцов спасая, пал...

Честь тому, кто, не робея,
Жизнь за братьев положил!
Победитель — победил,
Слава падшего святее!

(пер. Ф. И. Тютчева). — *Прим. перев.*

18. Цитируется начало «Истории» Геродота: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в неизвестности» (пер. Г. А. Стратановского). — *Прим. перев.*

стоянно в его сторону делаем реверансы, то с этим ничего нельзя поделать. Но я считаю, что так поступают отнюдь не патриоты.

Гаус: В одном из ваших важнейших сочинений — «Vita activa» вы приходите к заключению, госпожа Арендт, что Новое время свергло с престола здравый смысл, а также чувство первостепенности политического. Вы называете современными такие общественные феномены, как беспочвенность и покинутость массового человека и триумф человеческого типа, который находит удовольствие в голых процессах работы и потребления. У меня к этому два вопроса. Прежде всего, насколько обобщение такого уровня основано на личном опыте? С него ли здесь начинается процесс мышления?

Арендт: Я не думаю, что какие-либо процессы мышления возможны без личного опыта. Всякое мышление есть мышление о чем-то, о какой-то вещи, правда? Я живу в современном мире и, само собой, у меня есть мой собственный опыт. Впрочем, эти же обобщения формулировались и многими другими. Видите ли, проблема с этой идеей «только-работа-и-потребление» — потому так важна, что в этом проявляется безмирность. Человеку уже не важно, как выглядит мир.

Гаус: «Мир» здесь по-прежнему понимается как пространство, в котором возникает политика?

Арендт: В данном случае имеется в виду даже большее: как пространство, в котором вещи становятся явными, как пространство, в котором мы живем и должны выглядеть достойно. В нем же, естественно, появляется и искусство. В нем появляется все возможное. Помните, Кеннеди попытался решительно расширить пространство публичности, пригласив в Белый дом писателей и прочих бездельников. Так что и подобные вещи тоже могли бы входить в это пространство. Однако в работе и потреблении человек действительно полностью отброшен к себе самому.

Гаус: К биологическому [уровню].

Арендт: К биологическому [уровню] и к себе самому. И тут у вас появляется взаимосвязь с покинутостью. В процессе труда возникает своеобразная покинутость. Я не могу сейчас об этом распространяться, это завело бы нас слишком далеко. И эта покинутость как раз и есть та отброшенность к себе самому, в которой потребление занимает место по-настоящему существенных занятий.

Гаус: Второй вопрос в связи с этим. Вы в «Vita activa» приходите к заключению, что «настоящий, ориентированный на мир опыт» (включая и предельно политические прозрения и опыт) — «все дальше и дальше уходит с опытного горизонта рядового человеческого существования»¹⁹. Вы говорите: сегодня способность действовать ограничена немногими людьми. Что это означает в практической политике, госпожа Арендт? Насколько в этих условиях государственная форма, которая, по крайней мере, теоретически основана на совместной ответственности всех граждан, превращается в фикцию?

19. Arendt H. (1960). Vita Activa oder vom tätigen Leben. Stuttgart: Kohlhammer. S. 316.

Арендт: Да, это я хочу еще чуть-чуть ограничить. Видите ли, во-первых, эта неспособность к действительно адекватной ориентации существует не только у широких масс. Она существует равным образом и для всех других слоев. Я бы сказала, и для политиков. Политик окружен толпой экспертов. И здесь следовало бы поставить вопрос о разнице между политиком и экспертом. Политик должен в конце концов принять решение. Он сам вряд ли может принять адекватное решение. Он ведь не может знать всего. Он должен собирать мнения у экспертов, причем у таких экспертов, которые должны друг другу противоречить. Всякий разумный политик заказывает экспертизы с противоположных позиций, потому что он должен видеть предмет со всех сторон, правильно? А при этом сам он должен вынести решение. И это решение есть крайне таинственный процесс. В нем проявляется здравый смысл. Что же касается массы человечества, то я бы сказала следующее: где бы люди ни оказывались вместе, совершенно неважно, в каком масштабе, там образуются публичные интересы...

Гаус: И раньше, и теперь.

Арендт: ...И образуется публичность. В Америке, где все еще существуют эти спонтанные объединения, которые потом снова распадаются, эти ассоциации, о которых говорил уже Токвиль, там вы можете наблюдать это очень четко. Образуется какой-нибудь публичный интерес, затрагивающий определенную группу людей — соседей, или всего лишь один дом, или город, или как-то иначе построенную группу, — и тогда эти люди сходятся, и они вполне в состоянии в этих вопросах действовать публично, так как эти вопросы вполне для них обозримы. Это значит (если вернуться к вашему вопросу), что проблема [адекватности] касается только самых крупных решений на самом высоком уровне. А здесь, поверьте мне, разница между политиком и человеком с улицы принципиально не очень-то велика.

Гаус: Госпожа Арендт, вы с Карлом Ясперсом, вашим прежним учителем, связаны как партнеры по непрерывному диалогу. В чем сильнее всего Ясперс на вас повлиял?

Арендт: Видите ли, там, куда Ясперс приходит и говорит, там становится светло. У него есть эта откровенность, эта открытость, эта непредвзятость разговора, какой я не знаю ни у кого другого. Это произвело на меня очень сильное впечатление, когда я была еще очень молода. Кроме того, у него понятие свободы соединяется с идеей разума, что мне, когда я приехала в Гейдельберг, было совершенно чуждо. Я ничего о разуме не знала, хотя я уже прочла Канта. И вот я увидела этот разум, так сказать, в действии, на практике. И если можно так сказать (я росла без отца), я стала воспитанницей этого разума. Я ни в коем случае не хочу делать его ответственным за меня, но если кому-нибудь удалось меня вразумить, то именно ему. И этот диалог, который сегодня, разумеется, стал совершенно иным, — это, собственно, самое сильное мое переживание: что такой разговор вообще есть, что можно так разговаривать.

Гаус: Позвольте мне последний вопрос. В «Похвальной речи» о Ясперсе вы сказали: «Человечность никогда не приобретается ни в одиночестве, ни благодаря тому, что человек отдает свое произведение публике. Ее приобретает лишь тот, кто подвер-

гает свою жизнь и личность риску публичности»²⁰. Этот «риск публичности» — в чем он заключается для Ханны Арендт?

Арендт: Риск публичности кажется мне очень ясным. Человек являет себя в свете публичности, и являет в качестве личности. Хотя я считаю, что человек не должен думать о себе, когда появляется и действует публично, все же я знаю, что в таком действии личность выражается, как ни в какой другой деятельности. При этом разговор есть тоже форма действия. Второй риск состоит вот в чем: мы нечто начинаем, мы вплетаем наши нити в уже существующую сеть отношений. Что из этого выйдет, мы никогда не знаем. Слова «Господи, прости им, что делают, ибо не знают, что творят» имеют силу для любого действия, в самом простом и конкретном смысле — потому что невозможно знать, что ты творишь. В этом и состоит риск. И я сказала бы, что этот риск возможен только при доверии к людям. При трудноуловимом, но принципиальном доверии к человеческому во всех людях. Иначе мы бы на этот риск пойти не могли.

20. Арендт Х. Люди в темные времена. С. 88.